

Владимир Василенко

Поэзия

Владимир Василенко

Поэзия

«Автор»

2026

Василенко В. Ю.

Поэзия / В. Ю. Василенко — «Автор», 2026

В книге в хронологическом порядке представлены избранные стихотворения Владимира Василенко, написанные в 1990-2026 гг., и эссе 2020-2026 гг., посвященные поэзии и творчеству.

© Василенко В. Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

СТИХОТВОРЕНИЯ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Владимир Василенко

Поэзия

СТИХОТВОРЕНИЯ

Почуяв: караул уснул,
заглавь я руку протянул
так, чтоб ее касалась
чудесных пальцев завязь.

Оглохшие, в улове тел
немели кисти.
Но есть ветер
и есть листья...

Над, головами к голове,
внезапно спящими
всходило начертанье вен
руки творящей.

Как шелковая пелена
с предсердий спала,
когда неслышимую на
минуту встала.

Не отрезвленной ничуть
упорным взглядом,
бедром придавливая грудь,
сидела рядом.

Тупою ласкою разя,
как вскрытым прошлым,
твердила, что теперь нельзя,
но будет можно.

Что охлаждение так легко
и детство – злиться.
Что лишь уедет далеко,
но возвратится.

В дыхании стиха счастливом вдруг
призрак неотвратимой встречи
проявится сквозь внятный звук,

нет, не поэзии – какой-то верхней речи:

не узнавая колыбели глубь,
себя во гробе мнит душа живая,
всем неудобством оживленных губ
озноб предсмертный созывая,

виском на истонченьи волоска
давя дичайший опыт осязання
прохладной влаги лепестка
и бабочки накрытой трепетанья.

Оставив лоно бытия,
я исчезаю под волшебной сенью
ее лица: гримаса забытья
любовного – судьбы простое выражение,

когда над ликом милым Бог занес
освобожденья дивное светило
и бесконечно близится вопрос:
что это было?

Время с Анной

Легко, в висках лелея кровь
и в сердце нечет,
в сени неодолимых слов
промерять вечер.

Прохладой с главной равна,
порой светлея
дыханьем вод, еще одна
стоит аллея.

Не поднимая головы,
нездешне в чем-то,
по сумраку идете Вы
блестящим челном.

Вот так и жизнь идти должна –
великой странной.
Как в мрачном светлая волна.
Как время с Анной.

Т.П.

Наша встреча нечаянная – концом

затяжного ненастья стала.
И твоя аура, твое лицо –
кладбище моего идеала.

О, извечный, неодолимый миг,
разделяющий нашу цельность –
сам с собою обнявшись, мир
чувствует собственную неполноценность.

Слиться с деревом, камнем. Слиться – с чужим,
своевольем природу раня.
Так за признаки жизни цепляется жизнь,
недостигнутым кровью тираня.

Но не внять дыханью, неся любовь,
ни лицу, ни изгибу улиц.
Так за стенки вены цепляется кровь,
мыслью собственной не налюбуюсь.

Удивительно – так вдруг, сквозь прихоть уст,
слышать с миром погибшим разность,
принимая за приступ чувств
окончательную безопасность.

Окно вагона – светлые врата
в сыром по-зимнему и неуютном мире.
Ты в них была, и ты была мечта
о темень отменившем пассажире.

Не знали: я, платформы на краю,
и ты, уже упрятанная в поезд, –
что свалится на голову твою
всей на свече плывущей ночи повесть.

Мне твое не нужно тело,
не нужна твоя душа –
только то, что у предела
возникает, чуть шурша:

тень соседнего пространства,
в чье иду непостоянство
с тяжести, с колен, с ума –
ты сама, лишь ты сама.

Я не знаю, кем приведён я в дом.
Тихо за окошком горит луна.
Словно вспоминает в высях о том,
кем туда она приведена.

Если начинается вдруг гложуть род,
если небеса так стоят тихи
и звезда едва бежит через брод –
кто-то избирает стихи.

Я не знаю брода, но уложу
все слова, что выси мне возвратят, –
те, что в безголосье скажу,
в бессловесное уходя назад.

Не верю я, что не был я любим.
Мне легче думать, что не в этом дело, –
что ты была Создателем моим
и, попросту, губить не захотела.

Оставленный тобой, твои глаза
не помню и не знаю, где теперь ты,
и не молюсь другому богу за
всю муку невостремленной жертвы...

Проснешься – пот. Порежешь палец – кровь.
Идут дожди над Гефсиманским садом.
Я очарован странною игрой,
когда бессмертие – все время рядом.

Тишина

Не откровений лишены
и эти дни и эти стены,
но деревенской тишины
невозмутимой перемены:

далекий звук прошел, исчез.
На целую округу двое
в невидимый вступают лес,
как в озеро с листвой и хвоей.

Все заново, когда, прозрев
в деревьях первых, сердце склонно
и утонуть в чаду дерев
и выйти на равнины лоно –

в зеленых идолах земли,
в уступах их по краю поля
что узнаёт оно вдали,
что слышит, тишину мозоля:

немее, хвоей и листвою —
их неподвижностью — томимо
или с равниною пустой
неслышно протекает мимо.

Первая ночь лета всегда права.
Захлебываясь, листва глотает слова,
в выгиб ствола вкладывая: это
первая, самая первая ночь лета.

В залпах дождя, налетающего на
листья, можно услышать, как жизнь длинна
теми длиннотами, что должны были
просто усвоить звук дождевой пыли.

За монологом, идущим на слом,
всем своим холодом, всем бесцельным теплом
встала над ухом — не жди ответа —
двух слов не связующая ночь лета.

В американской провинции,
в европейской столице и
в облаках — те же
замкнутость и безмятежность,

разлитые над суетой сует
(на всех языках слово «да», слово «нет» —
только подобию какого-
то то ли движения губ, то ли слова).

Пока эта вторая среда
молчит, пока все идет туда,
куда доньше путь и купцу, и герою,
первая делается второю.

Улицы, что от века пусты,
кроны за кровлями, за дворцами мосты
с темными из-под них Атлантидами площадей
начинают видеть людей —

бородачом, что все еще в поле зренья маячит
женщины, чье лицо может быть названо, а не имя
на языке более глаз, нежели света, – такими,
каким видели Леонардо Мария и рыжий мальчик.

От сытого места – к голодному,
от теплого моря – к холодному.
Эхо суомских, скрипели
чайки у Сан-Микеле.

Век без малого по мановению,
по слушку, по стишку, по мгновению
настигала сама себя речь,
дабы на воду лечь,

упуская из виду идущего,
становясь чем-то вроде грядущего,
родом глади морской в серебре ручья –
неизбежна, не здесь, ничья.

Пространство – речь, и каждый шаг – слова.
В известном смысле, мы – в поэме,
в любой строфе, и на часах – едва
ли время.

Музыка во сне
всей глубиной вариантов
развертывается без объясне-
ний, правил, музыкантов –

почти на пальцах плотно
творенья. Так ли уж крамольна
материя на ощупь? Но
зрения – довольно.

В направлении «Оскара», в норке на голое тело,
без понятия, что будет, дойди до дела,
не умея от собственных ног поотстать:
чтоб узнать предмет, надо с ним переспать,
понемногу рядом с двумя открывая черты
третьего и не веря, что это – ты

сама. Идея сближения есть идея
подмены местности окончательным «где я?»,
чем из большего выйдешь, тем больше приходишь в себя,
по дороге свое тепло в прохладе чужой губя,
но ее используя, а не, как она
полагает, ее питая, идея дна,

на пути к которому, на пути к которо-
му неуловимо, как в кислород за шторой,
попадаешь в прежде не уловимый объем.
Иногда, когда мы водичку пьем,
кажется, что не здесь, а там, за телом и за душой –
чуть ли не в ней самой – хорошо.

Это всё о среде обитания в среде обитания.
Посвящая нечаянно обитаемого в тайны
невесомости, можно видоизменить плечо,
весь вопрос, вероятно, лишь в том, зачем, о чем,
меандрируя, шепчет отраженье звезды в воде
недоверчиво тянущей бровь в потолок звезде.

Борис Пастернак –
это знак
особого расположения неба
к отражению, в том числе и во мне, бо
небо если в мой и заглядывало полумрак –
я не знаю, кто из нас первым спохватывался: «Пастернак...»

Только звать на помощь, обознавшись лицом
в зеркале, – то же самое, что уже пред отцом
повторять молитву – блудному сыну.
Вот мы, оглушенные наполовину,
друг на друга уже и не глядим,
оставаясь – оно с барашками, я ни с чем – один на один.

Иногда я, свое ничто за барашки забросив,
получал ничто иного рода – Иосиф:
холод – холодок реки под ступнею –
обернуться речью, как простынею,
заставлял; я в небе, но я чужой
этой – и в зрачке и в ухе – земле большой

и такой подробной, что даже странно
(ах, не услышала бы Анна!),
что всему строка – море, лес ли –
равно велика. Сколь же много, если
делаешь вдох, и это не значит,

что небо тебя дурачит.

С точки зрения классического стихосложения,
тексты есть приближение
к Слову, прозрачному, как начало,
увеличительное стекло,
сквозь которое надо чтоб протекло
небо на легких мочало.

Если речь вдруг заходит о темноте –
то примерно о той, что и в животе,
в чьей пастушьей жалобе – что-то от стансов.
Благословенно животное, перед концом
недогадливо, ибо и за крестцом –
то же пространство.

Оживая, игрушечное авто
в «Аллилуйя!» захлебывается не то
«вау-вау» – досасывает батарейку.
Подлежащее в «средство преследует цель»
неочевидно (попробовать трель
и канарейку).

Певчий в «Вечной памяти» о другом
певчем борется с общим врагом,
как изъеденный небом мозг – с амнезией.
Тот, кто в пустоте океан отыскал
через самое сильное из зеркал, –
тот и станет мессией.

Каким-то, доныне неведомым, взглядом,
несвойственным мужеской зрелости, –
как будто бы кто-то невидимый рядом
добавил, по случаю, смелости –

окинув все это, уже не пытался
вернуть ее паводку зрения,
но сам, растворенный бедром, проникался
бесцельным теплом сотворения.

«О боже, куда мы идем...» – повторяя,
как в ливень бредя между строчками,
сошел в духоту со ступеньки трамвая,
залившего площадь звоночками.

Шлюз Щара – канал Огинского

Мертвым каждый бывает дольше, чем живым.
Справа – железные створки по грудь в воде,
левой – кусты, там иная река, и вы
на мгновение оказываетесь нигде.

Чувства не исчезают. Вот полумрак,
производное – дна? ивняка?
Наплывают ветки, подъем, ивняк
обрывается. Вот река.

Суша – тоже река, ее косе
в этом месте достаточно кулака.
Правы, в две глубины, как в одну, осе-
дающие облака.

Здесь имеет дело глазное дно
с тем, что, в общем, не имея дела с глазами,
видно на манер вашей собственной переносицы, но
что убедительнее, чем вы сами.

Слишком много Венеции.
Человек – это его мечта минус его реальность
(преступления давность –
наказанье, конец любви –
словосмещение, «живи» –
основная пустых небес ментальность).

Место, где одинаково некуда дальше плыть и идти,
отчего, собственно, и умереть
чье-то сердце было готово
(против времени пущенное «пусти-
те, не могу на это смотреть,
покажите снова!»),

так же просто вынести, как проход
через площадь – Мадонны Литта:
свет, как человек, ищет брод
в том, что по тысячам лиц разлито
(в этих поисках определения «тот»
притяжение «этого» скрыто).

Тонкий известняковый культурный слой
на безрыбье аквамарины,
по авансцене идущая в это стойло
многопалубная машина

(действие, необязательностью где-то
напоминающее возвращенье поэта

в город, осложняется тем, что на бывшее alter ego
с бывшего противоположным берега
смотрит новое. Тот же взгляд –
у строфы, канала, квартала.
Соглядатаю, чьи глаза норовят
проскользнуть между «стало»

и «было» в «становится» – не до зренья:
отражаясь в строчках, безрыбье грозит потопом
зазевавшемуся зрачку. Аминь.
Каждому Вольфу Мессингу – свой камин!).
Не противопоставленное понедельнику воскресенье,
львы, не противопоставленные антилопам,

набережные, не пугающие ступню – так они длинны,
золотой отлив глубины
на полу собора. Еще немного –
окончательно выяснится соотношение того, что внутри и вне-
и какого из известняков, зане
время – реакция на происходящее Бога.

После тебя была еще страсть,
две влюбленности. Или три.
И эта словосочетаний напасть
развивалась, как будущее, разъедающее изнутри.

После тебя было уже как-то легче.
Не то чтобы что-нибудь лечит,
но, наблюдая со стороны
за смычком, колебанье струны

воспринимаешь, как некий, похожий на свой
собственный, голос – не как гармонический вой,
застающий в любую минуту врасплох:
вынырнул на – как оглох.

Жить своей жизнью – по-своему замечательно. Знать
место, время, предчувствовать текст, обнимать
другую настолько, что та, гравитации не любя,
вдруг похожей становится на тебя,

я – на нее, когда-то и ты
о мои стачивала черты,
чтобы круг замкнулся, и ни ветерка:

видишь, тяжесть несовпадений легка,

проницаема и сродни
воздуху – по крайней мере, корни одни
у железа на сердце и на ладони, дело
лишь в степени сжатости: тело

разумное превращается в мышь
предполагаемую, тогда как тела небесные – лишь
усиливают резкие очертанья полей,
контрастируя с ней.

«U-2» не в Ирландии,
Бродский не в Ленинграде,
вышедшая на Запад волна,
чем дальше, тем, видимо, более –
не океан, не море,
но неизбежность, будущее, страна.

H₂O, оседая,
выдаст твердое «да»
золотому, сканирующему материке,
что до глаза –
побережия плаза
возникает не из океана – из более необъятной реки.

Очертания, континенты,
когда и луна и солнце – лишь хим. элементы,
луна – купрум, солнце – кобальт или...
Убери из-под ног старую, скажем
плоскость – тут же новая ляжет
под ноги: хочешь – здесь, хочешь – вдали.

Из окон последних у побережья
зданий: плоскости – больше, реже
воздух, но им дышать –
что пить; если исчезнуть,
будут фонтанчики местность
сквозь не исчезнувшие легкие орошать.

Удаляться от океана опасно:
все, что земле подвластно, –
уходить из-под ног, что на-
много академичнее в исполнении солнца и горизонта
(горизонт, разумеется, в синем) на сон
грядущий не то со сна.

Мысль когда-нибудь обрывается, как деловая,
ускользнувшая от скорости скорописи. Узнавая
по подсказке небес,
что дальнейшее перемещение по горизонтали
целесообразно едва ли,
и земля за спиной – окончательный лес

не то поле
(по сути – все то же море),
отвоеванный в честной борьбе гектар
начинаешь ценить: нет зеркальное стен, в доме –
никого, что и требовалось, кроме
вытерших с потолка побелку отар.

Вся ахинея о рае, об аде
(о Рае спереди, об Аде сзади)
отрабатывает, как дрофа
на линии маленьких злых фантомов,
от одного безразличного: «Дома?..»
Где же еще, где ж еще ты, моя строфа?

В воздухе зависая –
ах – и пятка босая –
весь Ахиллес –
та, кому стереометрия платья –
бином Ньютона, кто из объятья –
фюить! – по лесенке в лес

и той же дорогой –
в подлесок убогий,
чей полушаг,
чья медлящая лодыжка –
знак бессвязности и одышки в
на волну набредших ушах.

Новоиспеченная стерва
так (невольно) усиливает стерео- –
ни вперед, ни назад –
-эффект изменившегося положения
вещей: любое движение –
сквозь «да, да, да...» еле слышное «ад»,

так еле,
что в самом деле,
то ли некую сеть
имитируя, то ли время оно,
ткань расползается до того нейлона,

через какой можно глазеть.

Я был в Америке, в Германии,
ты – в Норвегии, на Кипре.
Перемещаясь отнюдь не в тумане,
причем ты пре-
имущественно по вертикали,
мы как будто искали
видимый на все стороны, на манер башни
день: ты – завтрашний, я – вчерашний.

Мы с тобой были. Я, заме-
чая прежде пялившееся в затылок
устаканившимися глазами,
предпочел бы не знать, что и ты, ло-
вившая во времена оны
за киферскими – еще волны,
кажешь теперь им фарфор лопаток,
да на знанье новый век падок.

Ожидание той, какой не будет,
от существительного до глагола,
переставшая быть прелюдией
гамма, проигрыш, голо-
звучье – бесцельней и бескорыстней
той, что есть, и того, что ты с ней
потихоньку выделявать начинала –
всякий раз, как Марина стихи, – с финала.

Уже проснулся, но еще не встал,
жизнь сторбилась на краешке дивана,
неочевидно, поздно или рано,
недоволялся или опоздал,

и ноги опустить в свои следы
вчерашние – совсем еще не значит
нащупать пол, когда стакан воды
блестящим боком в пустоте маячит.

Поцелуй волны был солон и беспредметен,
отсылая мысли к чьим-то светлым слезам,
каковых росинки заморский залетный ветер
теплым береговым языком слизав,

равномерно развеяв по телу сухой остаток,
шкуркой бархатной долго-долго полировал
в очертаниях живота, бедер, плеч, лопаток
незаметно наметившийся овал:

мысли-легкие-кремний – в таком порядке
безопаснее. Всякая вещь вольна
затеряться в запахе гальки, сухом остатке –
и пловец, и на ветер выброшенная волна.

Оказывается, душа –
всего лишь то, что выбирает
среду, в которой умирают,
не галькой, а волной шурша.

Все будет хорошо,
не в постижении Бога,
а в смысле, что прошел
все то, что будет плохо.

Так в бархатный сезон
соленые кристаллы,
стирая горизонт,
торчат небом скалы.

Взойдешь: один, другой
кораблик пленка дыма
качает под ногой
почти необъяснимо.

Покидая двор больницы,
ты вот-вот замедлишь ход,
разрешишь соединиться
нашим лицам поворот –

точка сквера, до которой
хорошо еще видны:
я в окошке перед шторой,
ты в движенье со спины,

точка сумерек, поднесших
свечку к окнам этажей,

под которыми, конечно,
разминутся нам уже

там, на дремлющей аллее,
не суметь, как ни крути.
Слышишь: я переболею.
Поздно. Всё, давай. Лети.

Строфы

Бывает: строфы навешают,
и посреди строки смущает
не слог, не тайна бытия –
мне жаль, что ты не я.

Наведенное на меня линзой
так прекрасно, что возникают слова
и жаль не исчезающего рядом с этим всего остального –
а ограниченности пространства, считающего меня собой.

Неужто невозможно,
чтобы все это накрывало вместе
более чем одно сердце?
К чему тогда затеянное на небесах наше сближение?

Стихи, заменяя тела,
полетели по склону, чтобы упасть в ивовую тень у реки,
проникаясь друг другом
с этим коротким вздохом: «Стоило жить...»

Если, в конце концов, нужно именно это,
пусть оно произойдет безыскусно.
Рождение, смерть, одиночество, трепет иллюзий –
не слишком ли много затей?

Старость

Старость – маскировка. Только если детство –
скрытое в тумане ровное шоссе,
старость – неожиданно близкое соседство
с тем, что не в один конец уходит, а во все.

То, что было как бы смыслом мироздания,
помещенным в центр кремнистого пути,
обретает форму тихого страдания,
призванного в глубь пейзажа увести:

все угодней зренью, заменяя тело,
тем же навидавшимся видов стариком

прекратить осваивать полотна пределы
и приобрести картину целиком.

Не к горю, не к слезам,
на ровном месте здрасьте,
как будто по глазам
взял и прошелся ластик –

вдруг человек тоскует.
А отчего хохочет? –
Господь его рисует
и кисточка щекочет.

Зима случалась каждый год.
Деревья в небо уплывали,
то есть, кажется, наоборот:
проснешься – снегом лес завален.

Различной глубины следы
на стеклах, рамах и дорожках
всю ночь из блесков и слюды
выкладывая осторожно –

как будто кто-то понимал
предполагаемого зрителя
и плавно холод поднимал
до бытия и до события.

Тишина сильнее любого ветра,
и о нем – это всегда о ней.
Если б можно было верить не в Бога, а в человека,
я, наверное, мог бы любить сильнее –

не умом и сердцем (по сути, издали),
не воображеньем (теплее на шаг),
а совсем: как озером тело, как душу мыслью,
осторожно разгуливающей в камышах,

как простую жительницу округой,
равно всем дарующей свой свет.
Там, куда ступаешь невесть откуда,
меж ступней и светом различий нет.

Понятно, надо быть в пейзаже,
в холодном мрамора куске,
в мелодике луны, но даже
простого камешка в реке

не вычислить, не переплюнуть
естественную глубину,
довольствуясь привычкой думать
за воду, мрамор и луну,

вообразив, что мысль – отрада
(на дне речном покой найдя)
молчать, под водной толщей взгляда
от смутных звезд не отводя.

Жизнь, прожитая целиком,
как сновидение без сна,
как Рафаэлем – босиком
Изображенная – до дна,

до сот сознания дошла
яснее, чем Благая весть,
не тем, что якобы была,
а тем, что безусловно есть.

В неодолимой темноте
немыслимые берега –
есть очи те, и окна те,
и в легком золоте луга.

И этот невесомый свет,
размытая в ночи звезда –
на полотне с названием «Нет»
с холстом не связанное да.

Что очень важно словам,
как воздух, нужным двоим –
непосвященному, вам,
несуществующим, им?..

По сути дела, строка –
способность света звучать,
как в русле тела река

с ее мечтой замолчать.

Не время мчится вперед,
а в «заднем» зеркале вид.
По существу, речь идет,
а говорящий стоит.

Поэзия – плод откровенья,
и, вероятно, дело в том,
что подлинник стихотворенья
всегда – в неведомом «потом»,

в котором, погружаясь снова
в страницу эту, то есть ту,
глаз наполняет, слово в слово,
сегодняшнюю пустоту

столбцами будущими теми,
чей, глубиной в жизнь, скачок,
уравновешивая время,
всесильным делает зрачок,

и этому преображенью
ума – оптическая дань –
меж творчеством и воскрешеньем
выскальзывающая грань.

Богомол

Застывший в листьях винограда богомол
под заблеставшим небом кажется пришельцем,
который с веточки своей легко бы мог
на Млечный Путь перемахнуть условным тельцем.

Случись в одно мгновенье что-нибудь с Землей,
с зажженной свечкою на блюде, с виноградом,
в недостижимость «зрачок» ушедший свой
он окружит каким-то незнакомым садом.

Всё, вроде, то же: небо звездное, лоза,
в сознание пламечко лучится как лучилось,
но неподвижные горошины-глаза
не оставляют мыслям выбора: случилось.

Картины Нового Завета

без слов и кисти написал
не человек, а человеком –
осваивавший небеса.

В живые краски небосвода,
вдыхая тихо на закат,
не зритель, а сама природа
глубокий погружает взгляд.

Так и лирические строчки
идут особенно легко,
когда открыто двоеточье,
а сам ты где-то далеко.

Укрощение бури

Под приоткрытою звездною бездною
перед последнею синью небесного
вечера, в озеро глазом косящего,
произносимое видит произносящего.

Следствия, как это им и положено,
взглядом одним от причин отгорожены,
прямо в котором невообразимое
происходящее видит произносимое.

На полуслове, как нитка, оборваны
ветер и ветром гонимые волны – и,
намертво в лодку вцепившись, спасенные
в мысли о чуде впадают казенные.

Гора

Оставалось пару шагов по воде пройти,
и когда вошли они в лодку, ветер утих.
А была четвертой стражи ночи пора
и Петру все мерещилась в темноте гора.

Затмевая звезды, она, казалось ему,
прямо поперек пути громоздит свою тьму –
широка и свободна, блестит в стороне вода,
но не перейти этой мертвой глыбе туда.

В полной тишине без ветрила и без весла
целиной подземною лодка медленно шла,
продвиженьем этим своим, как ответом, сводя с ума:
«Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»

Он

Свивает он сумерки в долгие нити,
тончайшую ткань облекая в слова,
и можно свободно из комнаты выйти,
пока в тишине он стоит у стола.

Ни с чем не сравнимое чувство, настигнув
внезапно, под стать вдохновенью его,
уже не отпустит с порога гостиной:
в гостях-то и нет у него никого.

И даже немного на шутку похоже,
когда в темноте, как бумагу строка,
в проеме такой незнакомой прихожей
сама выключатель находит рука.

Как много – собственное зрение (как мало)
морочить в двух шагах от истины, любя.
Нужна не женщина, а то, что увидало
ее глазами настоящего тебя,

почти из воздуха простого колебания
на свет извлечшее как бы прообраз твой,
едва удерживаемый прозрачной тканью,
как призрак дерева, идущего листвою.

Лес растворился в белом цвете,
земли и неба, верь-не верь –
как не было... и только ветер
снежинки поднимает вверх.

Хотя куда вернее то, что
вся перебеленная жизнь
по обе стороны окошка
уходит потихоньку вниз.

Я знаю: скоро ночь, хозяйка дня,
но знает ли она, что скоро я?
Простая геометрия: кто в ком
рискует оказаться целиком,

кому из двух в тюремное окно
на торжество другого суждено

смотреть глазами влажными, пока
плывут по ним ночные облака?

Есть в картинах и в иконах,
на которых образ женский
восстановлен в безысходном
приближении к совершенству,

не измеренное кистью
вертикальное мгновенье
полотна с незримой жизнью
как бы соприкосновения –

словно вас, назло стоящей
в глубине души картине,
с головою настоящим
этим светом окатили.

Бог входит целиком,
весь сразу во всего:
немыслимый объем –
в подобие его.

Бедна душа твоя,
и вдруг наоборот –
всей книги бытия
открытый разворот,

а нажитая мгла –
уже с овчинку ту.
Так вещи тень мала
на кольцевом свету,

так, тоньше волоска,
спасает времена
по небесам тоска
горчичного зерна.

Покров на Нерли

На страстной каждый вечер вокруг
исчезающего островка
в безнадежно затопленный луг
осторожная чья-то рука

опускает алмазную сеть,
и до света добыче живой
в пустоте – и стоять, и висеть
над созвездьями вниз головой.

Мал правитель или велик,
справедлив закон или крут –
подать – на динарии лик,
что однажды пальцы сотрут,

плата же – безликая высь:
кесаря терпя иль любя,
им же от него откупись,
как в душе – собой от себя.

Так полуденно-легко
мыслей полные аллеи
ощущение зрачков
в воздухе преодолели,

что уже и сами вдруг –
этот свет и эти ветви,
этот слог и этот слух –
неизвестно, есть ли, нет ли.

Фото

Включает законную листву и
ночную Гефсиманскую листву
пейзаж, который явно существует,
вне связи с тем, что значит «наяву»,

альтернатива живописи, фото,
не след, а растворение, когда
художника над образом работу
продельывает с ним самим среда.

Так твердь небесную на дне колодца
от брошенного камешка волна
изобличает, и воссоздается
одна в подлунном мире глубина,

один, всего наполовину небом
заполненный, неразрешенный взгляд
и руки, только пахнувшие хлебом,

и плещущий в кувшине виноград.

Есть что-то, что становится звездой
или в волне луною бледнолицой,
или в холодной зелени – постой... –
горящею на солнце земляникой,

еще не свет, но словно языком
вторым, владеющее белым светом,
само не знающее, на каком
оно сейчас – на том или на этом.

Из того же теста гений,
просто этот мир таков:
весь – потребность продолжений
солнца, неба, облаков

в подлинник тремя цветами,
что нечаянно Шагал,
поменявшись с ним местами,
в скатерть перелицевал.

Время – видимо, край света,
за который не спеша
чьи-то руки тянут эту
ткань из-под карандаша.

Вариации

1.

Где-то рядом со словами,
в их таинственной тени
видно, что нарисовали
в небе и в душе они –

вся живая паутина
смысла, будто он не ваш,
а скорее вы – картина,
на стене его – пейзаж,

и поверить невозможно –
до того вокруг стена,
что сработал вещь художник
просто так, без полотна.

2.

Знаменитые полотна –
только легкие следы,
тень, идущая свободно
по поверхности воды.

В языке под видом слова,
под сознанием, что он ваш,
вида кроется основа,
оживающий пейзаж.

Можно кисточкою думать,
мимо времени скользя.
Нарисованное сдунуть,
как художника, нельзя.

Проверенное, может быть, раз двадцать,
там всё лежит на месте: книга, стул,
чей на мгновение запоздавший стук
как извинение спешит раздаться.

В распахнутом окне оглохший сад,
свидетеля уже не замечая,
затянутое небо изучает,
сиявшее минуты три назад.

И – между грохотом и тишиной –
обрушенный на яблони и сливы
сорокадневный, не иначе, ливень,
пока еще беззвучною стеной.

Я думаю, она ушла
так незаметно, как уходят
изображенные тела
во тьму, стоящую напротив,

и вправду легче ветерка
по нарисованному полю,
на неземные полшажка
из рамы выступив, не более,

как будто кто-то указал,
задетый нашим с ней пейзажем,

на то, как пуст и темен зал,
на самом деле бывший нашим.

Легче понимания строфа,
собственным отсутствием красива,
так же, как Венеция – не факт,
а интерпретация залива,

в идеальном смысле не вранье:
не слова становятся твоими,
а существование твое –
их неосязаемостью, ими...

Всё, по сути дела, – лишь вопрос
допущенья. Допускал ли Шуман,
проникая в область детских грез,
что и сам настолько же придуман?

В раю пошел снег:
больше не было фальши,
запретного не было
больше «что дальше?»,

а было безчасье,
как будто пустыню
предельного счастья
на миг отпустило.

И, яви клубок
размотав на ресницах,
во сне пошел Бог,
забывая, что снится.

Это

Это как взлом посреди засыпания,
невыносимо, но не закричать:
словно из вас извлекают сознание,
не собираясь его возвращать.

Дело не в чьей-то заведомой выгоде,
дело не в том, как легко, просто так
вы понимаете, как будет выглядеть
бывшая вашей душой пустота –

главное: белыми нитками шитое,
связанное с догоревшим лучом,
это настолько само неожиданно,
словно вы здесь вообще ни при чем.

Я как-то по-хорошему исчерпан.
Из моего сознания извлечен
весь смысл его существования, чем бы
на самом деле ни являлся он.

Так в пустоте оставленных покоев
во всех жилых подробностях слышна,
без объяснений, что она такое,
стоящая снаружи тишина.

Так истина в пустяшном разговоре
вскрывается за полной ерундой
и лодка посреди ночного моря
за мыслями становится звездой.

Солярис

Вот это: чьи-то слова
и это чьи-то следы –
вот эта гибкость, трава
и эта прочность воды –

куда бы ты ни пропал,
в любом чистейшем нигде
стоит все та же тропа
того же смысла в воде,

и та же местность легка,
и подозренья верны,
что и душа, и река
равно гибки и прочны,

что и в реке, и в душе
одно и то же стекло,
поскольку с кем-то уже
все это произошло.

Самое неведомое в ночи –
то, как наполняется тишина
голосом любви. Той, что не молчит.

Жизнь – трагедия, – говорит она.

Как ни обольщайся, что разрешил
притчу о зерне и цене конца,
что-то понимаешь лишь здесь, в тиши
просто обращенного к тебе лица.

Что в нем удивительнее всего, –
та, что не молчит, говорит, любя, –
что чем невозможнее без него –
тем уже возможнее без себя.

Покачивались звезды
в чернильнице залива,
все выглядело просто
и непреодолимо.

Наверное, так надо:
весь мир – в одном овале,
за исключением взгляда,
которым рисовали,

и этого, кому-то
на глубине творенья
буквально на минуту
оставленного зренья.

Он там, от лодки в двух шагах,
на стороне волны и ветра,
и что-то большее, чем вера
в неосторожных берегах,

и что-то, легче всех идей,
вслед за идущего ногами
распространяется кругами
по ускользающей воде

затем, чтоб сами мы могли,
опомнившись в качнувшей яви,
как тверди под ногами – «аве»
сказать отсутствию земли.

И души твоей, и тела

стоит в самом деле
то, что невозможно сделать
за одну неделю,

что сквозь оболочку света,
видимую всеми,
проступает, и на это
требуется время,

чтобы: щелкнул выключатель —
и в темнице дома
так же видно замечатель-
но и все знакомо.

На еще не высохшем холсте
как бы к флорентийской белизне
кистью приближенная постель
мне напоминает обо мне:

бело-голубая глубина —
ожидает простыни провал,
чтобы созерцатель полотна
наконец себя нарисовал,

обойдя по кругу мысль о том,
как в свою же руку вплыть рукой
и о том, как выпавшей потом
кистью не заляпать мастерской.

Я иду в этот мир — в этот взгляд,
как цветущее дерево в сад,
как смоковница в каплях белил,
на которых закат не остыл,

и цветок — это только вперед
забежавший во времени плод,
на мгновение оставивший взгляд
тот же двадцать столетий назад.

Образ мой, полный цвета и сил,
не засохшую ветвь воскресил,
а — под слоем живой красоты
винно-ягодный вкус пустоты.

Незаметно состарилось море.
Все в морщинах, его полотно
так подробно, как будто во взоре
разглядеть оно что-то должно.

Под волнуемой паутиной
между бездной сырой и лицом –
то, что между старинной картиной
и пред нею застывшим юнцом,

когда в этой немой рукопашной

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.